

---

*К 80-летию Николая Палькина*

**ИВАН ВАСИЛЬЦОВ**

## “Волга-речка, подскажи словечко!..”

Держу в руках книгу Николая Палькина “Окрасился месяц багрянцем” – и волнуюсь. Перечитывал её сколько уж раз, в том числе и вслух – домашним, сколько раз пересматривал, сколько карандашных пометок делал, а всё равно чувствую: приоткроется мне и теперь что-то новое в жизни и судьбе русской песни, запульсируют её глубинные истоки. К такой книге хочешь возвращаться снова и снова, точно к роднику с целебной водой. А разве не целителен для души звон поддужных колокольчиков валдайской удалой тройки, или гул костромских колоколов, или голос великой Руслановой, или незабвенный баян Ивана Паницкого?..

*Между небом и землёй  
Песня раздаётся...*

Сама песня живёт в книге то в образе трепетной лучины, освещающей крестьянскую хату, то веретена, над которым склонилась усталая женщина, то готовой лопнуть от напряжения бурлацкой лямки, то взмывающей в небо вольной птицы. А то и просто становясь, как говорят в народе, калиной в кругу – цветущим калиновым кустом. В своё время стихотворение Палькина “Куст калины” расцвело столь ярко, что сначала его заметила сама Людмила Зыкина, назвав “Песней о России”, а позже написал к нему музыку Евгений Бикташев. И не написал даже, а скорее расслышал, угадал... У каждой песни своя пора цвета:

*Посреди долины  
Белый куст калины.  
Я спешу навстречу:  
– Здравствуй, друг старинный!*

*Дай-ка на тебя мне  
Вдоволь наглядеться,  
Вот опять, как в детстве,  
Мы с тобою вместе.*

*Сквозь года, тревоги  
Стелются дороги.  
По земле немало  
Походили ноги...*

Когда я пытаюсь представить и мысленно упорядочить основные, как принято говорить, вехи творческого пути Николая Палькина, у меня это не очень-то здорово получается. Слишком уж он какой-то официальный, какой-то сухопутный этот обязательно присутствующий на карте юбилейных статей “творческий путь”. Между тем как поэзия Николая Егоровича неразъёмно переплетена с прозрачными жгутами могучей волжской тяги. Есть в ней и свои громкие разливы, и тихие заводи, и темноводные протоки; есть и заросшие кубышками старицы, и затопленные чудо-города (как не распознанная пока критическим взглядом поэма “Перекасти-поле”), и обозначенное мерцающими огоньками бакенов судоходное русло. Вот и выходит: у поэта, у песни и у реки – одна жизнь, один первоисток, одна боль и одна радость. Не зря поэт особенно ценит и частенько с любовью повторяет звучную народную припевку:

*Волга-речка,  
Подскажи словечко!*

В “Поэме о Волге” – вещи просторной, масштабной, органично совмещающей дальние исторические ретроспективы и событийный план современности, – Николай Палькин разворачивает перед читателем широкостраничный атлас великой русской реки. Вот думающий свою историческую думу Углич с его печальным “Храмом на крови”, вот Тверь, откуда начинал хождение за три моря купец Афанасий Никитин, вот старинный Ярославль, на берегу которого горевала и пела, заступаясь за правду народную, лира Некрасова, а вот и легендарные Жигули, где “. . . такое небо для полёта, // И такие гручи впереди, // Что сама собою у кого-то // Выпорхнула песня из груди”.

Говорю с профессором Вороновым, известным знатоком и ценителем палькинского таланта. Юрий Сергеевич, по обыкновению чуть прищурившись, советует: “Обрати, обрати внимание на то, как своеобразно толкует Палькин творческое наследие Гоголя (у которого все девчата и парубки точно бы не разговаривают, а, как заметил Палькин, поют), Радищева, Тютчева, Некрасова. . . Палькин, заводя речь о Некрасове, восклицает: “На стезе словесности российской // Сколько он талантов разглядел!” “То есть, в понимании Палькина, – продолжает свой комментарий профессор, – Некрасов растил новые таланты не просто заботой о них, а глубиной, мастерством, психологизмом, гражданственностью собственной поэзии”. От себя дополню. Именно в очерке о Некрасове Палькин выдаёт формулу, имеющую и для него первостепенное значение: “Русская поэзия – прежде всего чистая правда на чисто русском языке”.

Вспоминается мне и ещё одно имя, стоящее для Николая Егоровича, думаю, не в ряду прочих: Михаил Шолохов. Слова Шолохова, воспринятые Палькиным в станице Вешенской, крепко запомнились поэту, став во многом определяющими в его жизни и творчестве:

*У каждого своя река,  
Та, что становится судьбою.*

Есть река, есть, значит, и бережочек. И садами, спускающимися по склонам к самой воде, всегда был знаменит саратовский берег. Вон от того колышка отвязывал свою лодку одноногий фронтовик дядя Гриша – самый уважаемый и умелый из волжских перевозчиков. А там, повыше, жил мастер вырезать свистульки, которого местные так и прозвали: Соловей-разбойник. Лихо выбиваются из-под ватника – по утрам-то ещё утренники! – синие полосы тельняшки. Кудрявая, лёгкая на подъём сирень, прихватив вёдра, бежит вниз по воду. Даже брошенный дом тянется к весне осколком деревянного солнышка. Родство, и радость, и горечь. Родительская вишня цветёт по-особому. Кто хоть раз видел в пору весеннего половодья саратовскую сторону с воды, тот сразу почувствует, о чём речь:

*Зацвели саратовские вишни,  
Занялся над Волгою рассвет. . .*

По меткому и, как всегда, сочному выражению Виктора Бокова, его давнему другу Николаю Палькину посчастливилось жить в городе “вольных традиций и голосистой, как окрик речного капитана, гармонии”. Как-то в телефонном разговоре с Николаем Егоровичем я упомянул Виктора Бокова. Упомянул случайно – за окнами куталась в белый платок метель, недовольно гудел ветер, закручивая над крышами колючие снеговые водовороты, и мне вдруг захотелось душистого боковского лета:

*Лето – мята, –*

неожиданно для себя самого нараспев проговорил я любимую строчку;

*Лето – лён, –*

тут же отозвался Палькин на дальнем конце провода.

А чуть позже Николай Егорович написал для журнала небольшой, но удивительный по силе и светоносной жизнерадостности очерк, посвященный Виктору Бокову. Материал получился действительно светлым, лёгким, тёплым. Что ни оценка, то запоминающийся образ; что ни лыко, то в самую сердцевину строки. “Щедрым коробейником русской поэзии” называет Палькин Виктора Бокова. А в коробе боковском – “речевые драгоценности” да “слова-самоцветы”... В стихотворении, начинающемся с имени великого французского поэта (Хожу и напеваю: “С давних пор мне по душе // Песни Пьера Беранже”), Палькин отождествляет современную русскую песню с Виктором Боковым:

*Но поёт же Виктор Боков.  
Слава Богу, песнь жива!*

Атмосфера в редакции журнала “Волга”, возглавляемого Николаем Палькиным целых семь лет, запомнилась мне вот по какому вроде бы незначительному эпизоду. Шла планёрка, деловито постукивали пишущие машинки, нервно шуршали рукописями ожидающие своей участи авторы-любители. И вдруг в редакцию вошла женщина:

– Это от Михаила Чернышёва. Мы его в лес возили, он просил передать. Вот, лесная...

И в ту же секунду крошечный букетик земляники заблагоухал, разошёлся пылким лесным духом; сразу же запахло прогретой солнцем поляной и сухой сосновой корой. Все точно бы в июньском лесу оказались и втягивали, втягивали земляничный аромат, знакомый с детства. Это я к тому, что главному редактору Николаю Палькину удалось создать в журнале доверительно-тёплую, творческую обстановку, что всегда было редкостью. И не случайно именно “Волга”, заплатив суровую цену, отважилась напечатать тогда статью Михаила Лобанова “Освобождение”, ставшую впоследствии классикой отечественной критической мысли.

Факт, свидетельствующий о многом.

“Село-то какое замечательное, – живо откликается Николай Егорович на мою просьбу разыскать адрес талантливого поэта и прозаика Ивана Печавина, – село-то какое – Любимово!.. Надо, надо Печавина поддержать, совсем забыли про него последнее время, а пишет он живо, ярко... Слово у него вкусное!”

Не однажды я слышал от Палькина: “Надо поддержать, надо помочь, надо идти навстречу таланту”. И вот что интересно. Не так уж и часто вижу я Палькина, не столь уж и обстоятельно-подробно разговариваю с ним, но почти всё, сказанное Николаем Егоровичем, остаётся в памяти, не улетучивается, не исчезает. Возможно, так получается потому, что истинный поэт-песенник не может позволить своему изустному слову быть инертным, дряблым, пустым. Я, во всяком случае, не могу себе представить Палькина говорящим общеизвестные скучные вещи, равно как и не могу представить его, выражаясь по-некрасовски, “праздно болтающим”. Лира Николая Егоровича тоже не из болтливых. А если уж берётся говорить, то каждое слово её на вес дела, ведь она, по признанию поэта,

*... модных одежд не носила,  
В модных салонах не шлялась меж сытых столов.  
Уголь грузила, высокие травы косила,  
С матерью вместе доила коров.*

Там, в далёком детстве и пришедшейся на военное лихолетье юности, остался взрастивший будущего поэта пласт земли, народной культуры и языка. Да почему, собственно, остался? В каждом новом отросточке белоствольной палькинской берёзы, на которой, опять же вспоминая Бокова, “может петь только соловей”, в каждой новой строке поэта слышатся и сказки бабушкины, и песни материнские. А то и отзывается пронзительным, как паровозный гудок, эхом редкое да меткое словцо отца-стрелочника...

“Я хорошо помню тот день, когда мы проводили на войну отца, – пишет Николай Егорович в одном из своих мемуарных очерков. – Аллеи сада, находившегося по соседству с военкоматом, были запружены народом, прощальные песни мешались с женским плачем... Уже стемнело, когда была дана команда новобранцам строиться, и отец, обнимая меня, сказал, видимо, то, что сказали в этот день тысячи отцов своим маленьким сыновьям:

– Ты остаёшься в доме за главного, береги мать.

... Если бы можно было видеть, как мальчишеское сердце становится сердцем мужчины, то это, вероятно, случилось именно в тот прощальный час, когда я почувствовал, что больше никогда не обниму отца”.

Тема родства – это, на мой взгляд, ствольная, хотя и не всегда лежащая на поверхности тема всего палькинского творчества. “Анютины глазки” не дадут солгать. “Нет сына, который не думал бы о матери. Нет поэта, который не пытался бы объяснить в любви к родной земле”. Иными словами, родные и родина неразделимы в сознании человека, в сознании поэта. Даже Родина-Мать, поднимающая над Мамаевым курганом свой каменный меч, когда-то была просто матерью, слабой, хрупкой, но и несокрушимо могучей в материнской своей любви женщиной, не захотевшей смириться с тем, что её сын погиб на войне:

*По Мамаеву кургану  
Днём и ночью ходит мать:  
“Вы скажите, добры люди,  
Где мне сына отыскать?”*

*Ей в ответ вздыхает Волга:  
“Крепко спит в земле герой.  
Не буди его напрасно  
И ступай себе домой”.*

*Повернулась, распрямилась,  
Непреклонна и горда:  
“Не гони меня отсюда,  
Не уйду я никуда”.*

Возможно, это единственный в нашей поэзии случай, когда про грозное каменное изваяние, возвышающееся над Мамаевым курганом, сказано так, что его становится жаль. Такое неожиданно человеческое, чуткое решение темы по силам лишь сыну, свято чтущему свою собственную мать. Как бы ни складывалась судьба, куда бы ни звала дорога, поэт не перестаёт обращаться к светлому образу своей матери.

О поэме “Плачя”, хорошо известной читателям и по достоинству оцененной критиками, трудно говорить без ответного внутреннего содрогания. Отдавая последний сыновний долг, поэт шаг за шагом восстанавливает облик матери – плачеи и сказительницы Елены Андреевны, жившей в ладу с людьми, землёй и песней. И вот уже снова раскрывает объятия гостеприимный родительский дом, и изгибается звонкое коромысло, и поднимается огород, и весело поскрипывают в кадучке солёные грузди, и поёт отцовский рубаночек, и звучит, конечно, материнская песня:

*На горе шумит берёза...*

“Всякий раз, когда речь заходит о владимирской земле, – рассказывает Николай Егорович, – передо мной возникает лик матери и её ухоженная могилка в старинном Покрове под сенью старинных берёз”. От земли саратовской, от села Большой Мелик, где родился поэт, до владимирских лесов и полей пролегло расстояние, которое шагами не прошагать, вёрстами не измерить. Но может ли прерваться связь между матерью и сыном, если материнская сила, по внутреннему разумению самого поэта, стоит за каждой его строкой?

*Как себя я помню,  
В нашем доме пели.  
Полюбил я песню  
Чуть не с колыбели.*

У Ивана Гончарова есть удивительный, нерасшифрованный образ: старое крыльцо ветхого дома Обломовых сравнивается с качающейся колыбелью, то есть, по существу, наделяется ритмом колыбельной песни. В стихах и песнях Николая Палькина тоже ощутим некий варьирующийся, конечно, тем не менее общий ритмический орнамент, общий мотив, сопровождающий поэта “с колыбели”. Композиторы, с которыми щедро сводила и сводит Николая Егоровича судьба, я думаю, чувствовали это его родство с изначальной прापесней. Как тут не вспомнить Александра Живцова (“Не зови меня спать, перепёлка”), или Владимира Захарова (“Ноченька”), или Октября Гришина (“Не ругай меня, мама”), или Евгения Анисимова (“На тропинке, луной запорошенной”), или Геннадия Заволокина (“Тройка”), или Валентина Левашова, того самого, с которым Палькин сотворил одну из самых известных и звучногласных своих песен – “У моей России очи голубые”.

Звучит, да ещё как звучит оно, слово, подсказанное Волгой!..

Кстати, вместе с тем же Левашовым Палькин написал песню, в буквальном смысле подсказанную очертаниями волжского берега:

*Глянь с горы Соколовой  
На Саратов ночной,  
Золотою подковой  
Он горит над рекой.*

*Вы спросите у Волги,  
И ответит она:  
Золотая подкова  
Нам на счастье дана.*

...Саратовцы знают, что если посмотреть погожим летним вечерком с Соколовой горы в сторону Волги, то действительно увидишь, как сливаются береговые огни в золотую подкову. (А где-то там, за Судачьей грядой, откуда виден силуэт разинского Утёса, мерцает зелёным глазком и мой знакомый бакен. Привет тебе, старина!) В этом есть что-то очень саратовское, понятное лишь тому, кто слышит музыку города и реки.

*Я о чём бы ни пел,  
Всё пою о России.*

Такова доля истинно народного поэта.

г. Саратов